

А. Н. БУРМЕЙСТЕР

Гренобльский университет, Франция

## СОВЕТСКИЙ ЯЗЫК ИЛИ СОВЕТСКИЙ СКАЗ?

Летом, после «великой студенческой революции» мая 68 года, пока наши профессора-мандарины, разъехавшись по дачам, поджидали инициативы со стороны правительства, лидеры студенческого движения и мы, ассистенты, собирались в опустевшем университете и обсуждали самые разнообразные планы реформ. Они вкратце сводились к двум направлениям: либо к *радикальному* (революция продолжается, хотя и другими путями, задача преподавателей, примыкающих к этому направлению, — подготавливать студентов к новым конфликтам с капитализмом и теоретически, опираясь на марксизм, троцкизм или маоизм (тут проявлялись крупные разногласия), и практически — например, тренировкой к уличным столкновениям с полицией), либо к *умеренному* (восстановление курса занятий с введением необходимых усовершенствований, стоявших уже давно в повестке дня). После долгих прений мы нашли компромисс: борьба с буржуазией продолжается, нужно оберегать студентов от эксплуатации капитализмом и вооружать их профессиональным знанием. Вот от этого компромисса и пошли новые формы преподавания, которые я сам, став вскоре профессором и заведующим кафедрой славистики в Гренобльском университете, стал вводить.

Преподаватели историко-филологического факультета по традиции выпускают, с одной стороны, элиту, будущих своих коллег, а с другой — фалангу униженных и оскорбленных; для них теперь открывалась перспектива «прикладных языков» с особым направлением: экономическим, политическим, юридическим, туристическим и т. д. Вместо изучения литературных произведений на иностранном языке, им предлагалось чтение иностранной прессы, подготовка досье на современные темы. По примеру наших коллег, выбирающих интересные статьи из Spiegel'a, из Times'a, мы стали черпать подобный материал из советской прессы. И вот, к нашему удивлению, уже после двух месяцев занятий, наши студенты проявили острые припадки аллергии к преподносимым им текстам. Самые заядлые марксисты, не говоря уже о троцкистах, стали испытывать какое-то чувство отвращения к передовицам «Правды», к выступлениям Брежнева, к победам трудящихся. Чтобы не сорвать курс занятий, пришлось срочно перестраиваться и обращаться опять к литературе, к повестям и очеркам Залыгина, Абрамова, Шукшина, Трифонова, Дороша, но уже не с литературной, а с бытовой точки зрения. Положение было спасено, но пришлось задуматься — с научной точки зрения: какие причины вызывают подобное явление? Этому вопросу с тех пор был посвящен семинар нашего лингвистического центра.

Я лично уже давно обращал внимание на своеобразие советской политической речи, особенно с тех пор, как мне предложили составлять дайджесты (краткие изложения) из выбранных мной же статей журнала «Вопросы философии»; они печатались в ежегоднике Государственного Центра Научных Исследований (CNRS), *Annuaire de l'URSS et des pays de l'Est*. Самые интересные статьи являлись еще откликами на период оттепели, склонявшейся тогда к застою. Несмотря на интерес, который они тогда вызывали, сводить их в дайджест было сравнительно легко по сравнению с западными статьями подоб-

---

Александр Николаевич Бурмейстер, профессор, заведующий кафедрой славистики Гренобльского университета (Франция).

ного размера. Следовало очистить от многословия основную идею, которая в них скрывалась. Именно многословие (с виду ненужная фразеология) смущало, приводило в уныние наших студентов. Было ли оно просто сорной травой? Ведь при случае оно проявляло неожиданную мощь: когда, составляя доклад, студент черпал в ней современные обороты, чтобы придать живой колорит своему выступлению, он неизбежно впадал в стиль примитивной советской пропаганды, несмотря на то, что, как он потом объяснял, он как раз хотел выступить критически! Свое брало верх.

Но как определить? Как назвать объект наших исследований? С начала 70-х годов во французской прессе стал пользоваться большой популярностью термин *langue de bois* (дубовый язык). Он относился, скорее, к выступлениям лидеров французской компартии и особенно ее генсека Жоржа Марше, блестящего поборника марксизма-ленинизма. Когда он выступал по телевизору и, несмотря на едкие вопросы журналистов, упорно продолжал расхваливать свой товар, он возбуждал восхищение у телезрителей. Но такова цена славы: число избирателей, голосующих за компартию, пропорционально сокращалось с ростом его популярности! В русском языке термина, подобного *langue de bois*, не встречалось. Обличая скрытые реалии Советского Союза, диссидентство вводило такие красноречивые определения, как номенклатура, архипелаг Гулаг, но о деревянном (?), о дубовом языке (?) — ни слова. Еще в прошлом столетии называли суконным языком казенный, бюрократический стиль, но он не мог охватить объём советской действительности. Странное явление, на Западе самыми компетентными исследователями политической речи были марксисты: они выискивали признаки буржуазной идеологии в самых неожиданных отраслях, но до священных памятников марксизма-ленинизма не дотрагивались! Когда в Москве я делился на эту тему со знакомыми, они на меня смотрели с грустью: — Бедный Саша! Зачем ты интересуешься подобным хламом? Вся эта газетная публицистика только годна для заворачивания селедок. Вместо этой лжи читай лучше настоящих, искренних наших писателей.

Одно не мешало другому. На Западе стали появляться произведения, которые в Союзе были доступны только в самиздате. Но при этом выходили крупным тиражом повести и очерки, содержание которых мы продолжали читать между строчками. Все это позволяло раскрывать то, что советская власть старалась тщательно, и безуспешно, скрывать. Но неужели изучение советской действительности сводилось лишь к посещению кулис театра, режиссерами которого оставались партия и органы? Неужели только между строчками следовало читать советскую политическую речь и расшифровывать постановления и выступления лидеров КПСС в поисках проявлений борьбы между ястребами и голубями в Кремле?

Автором лозунга «читать строчки, а не между строчками» стал у нас молодой лингвист Патрик Серио, отличившийся толковым анализом словаря Ожегова: он насчитал в нем необычное количество примеров воинственного, боевого характера. Вот парадокс миролюбивой страны, язык которой настолько насыщен военными штампами! Я предложил ему тему докторской диссертации: сравнение докладов Хрущева на XXII съезде КПСС и Брежнева на XXIII съезде. Подобные сравнения при помощи вычислительных машин у нас тогда были в ходу: сравнивали, например, лексику Жискара д'Эстэна и Миттерана в избирательной кампании 1974 г. и открывали, что первый чаще использует слово свобода, а второй слово народ. Компьютер тогда преимущественно давал результаты количественного характера! К подобному, но неожиданному заключению пришел Патрик Серио после 6 месяцев стараний. Пришел разочарованный на семинар:

— Никакой существенной разницы не вижу между Хрущевым и Брежневым. Тот же стиль, та же лексика, хотя у Никиты Сергеевича преобладает

иногда шутливый тон, который полностью отсутствует у Брежнева. Будто одна и та же рука пишет речи того и другого!

— Но ведь после отставки Хрущева политика меняется. О десталинизации, о смелых реформах периода оттепели больше ни слова...

— В основном остается та же фразеология, те же приемы. Я, благодаря компьютеру, даже отметил удивительное явление: он обнаружил и у Хрущева, и у Брежнева необычное преобладание родительного падежа. Статистически подобное использование номинализации встречается лишь в статьях чисто научного характера.

Несколько лет спустя Патрик защитил свою диссертацию. Используя накопленный речевой материал, он изучил процесс номинализации, с помощью которого эксплицитное заявление становится имплицитным, подразумевается и законно исключается из дальнейшего обсуждения. Например:

Успехи советского строительства доказывают превосходство социализма.

Номинализация заменяет также спорное заявление (которое может быть изложено при помощи глагола: советское строительство успевает / успевает ли советское строительство?) бесспорным утверждением: успехи советского строительства. Номинализация не дает также возможности задать себе вопрос: превосходит ли социализм?

Своим научным подходом Патрик Серио доказал, что именно в построении фразы, в дискурсивной стратегии говорящего, а не в использовании им особой лексики, кроется механизм советской риторики. Одновременно, чтобы упрочить эту точку зрения, я стал редактировать сборник статей, ежегодник *Essais sur le discours soviétique* (Исследования советского дискурса), издаваемый с 1980 года при Гренобльском университете. На первом плане стоял у нас анализ советской политической речи, а не изучение какого-то нового советского языка, хотя именно по этому направлению шли тогда и публицисты и лингвисты. Поляки, особенно в начале 80-х годов, смело выступали на этом поприще, разоблачая манипуляции, которые совершались политической пропагандой: обеднение языка, исключение слов нежелательного применения, систематичный повтор ключевых слов, гипертрофия прилагательных. Все эти замечания относились преимущественно к нацизму и к фашизму, но легко применялись к коммунизму. Польских лингвистов беспокоила судьба родного языка, превращавшегося в *мова трава*. Источником всех этих размышлений, хотя не все в этом признавались, был роман Оруэлла, «1984 год». Понятие *newspeak* (новояз) воспринималось не только как фикция, антиутопия, направленная против тоталитаризма, поработящего человечество введением искусственного языка, а прямо, как научное открытие: мировоззрение и поведение данного населения зависит от языка, которым он располагает и за использованием которого строго следит власть. Хозяином, автором подобного извращения мог быть только гениальный вождь, корифей наук. Что касается России, не было ни малейшего сомнения: во всем виноват Сталин.

В «Русской Мысли» (08.05.80) М. Геллер противопоставлял русский язык советскому, единственному в мире языку, национализированному государством, обладающим монополией на Слово: «Слово употребляется как маска: после революции рождается система, складывающаяся из фикции, которую Слово утверждает как реальность, и из реальности, которую Слово отвергает как фикцию».

Получается все шиворот-навыворот — ложь становится правдой, правда ложью, как у Оруэлла: «Голод — это изобилие, война — это мир, рабство — это свобода. Слово в советском языке лживо, ибо оно пусто. Смысл его меняется в зависимости от того, кто его произносит и когда». Но, к счастью, великий русский язык еще не заменен советским, и М. Геллер надеялся, что настоящие писатели успешно проведут восстание против монополии на Слово.

С полемической точки зрения все эти аргументы вполне убедительны, но с научной? Существует ли сам по себе советский язык? Можно ли, исключив говорящего и адресанта, подходить к нему с лингвистической точки зрения? Что значит, семантически, пустое слово, помимо метафоры о пустой скорлупе? *Langue de bois*, *newspeak*, *powo-mowa*, советский язык — образы, а не понятия. Но не в этом самое важное. Обидно то, что буквальное применение фикции Оруэлла к Советскому Союзу превращает его подданного не только в «совка», в *homo sovieticus*, а просто в робота. С этим может не согласиться даже тот, кто наблюдает со стороны, но внимательно читает советские публикации.

Вот, например, выступление Т. Я. Киселева, первого секретаря ЦК компартии Белоруссии на XXVI съезде КПСС. Он выступает после Брежнева. В ответ на вопросы генсека, он парафразирует его замечания о необходимости научиться эффективнее работать и хозяйствовать, лучше использовать научно-технический потенциал и т. д., он подтверждает его оптимизм: крепче стала мощь страны, повысилось благосостояние народа, и он обещает: мы будем поднимать боеспособность партийных организаций, повышать уровень руководства и т. д. Тут, конечно, речи нет о прениях, об обсуждении какого-либо серьезного вопроса; Киселев себя выручает, обходит все опасные пункты, повторяет, как усердный студент, то, что слышал на лекции профессора. Вот как надо себя вести! Исключая правозащитников, диссидентов, выступающих открыто против установленного порядка, не так ли вообще научились вести себя советские граждане? Не заключили ли они какой-то негласный договор с властями? Заглянем глубже.

В советской прессе постоянно попадают те же схемы. Например, в «Правде» на 3-й странице — голос из провинции, письмо читателя: «Не могу больше молчать, у нас то-то и то-то...» Это не донос, а просто человек хочет поделиться с общественностью. Органов это не касается; газета отзывается: пошлет своего человека исследовать, в чем дело. Две недели спустя, на той же 3-й странице, отчет исследования подтверждает заботы читателя, дает подробности и сообщает, что местные власти и общественность заволновались, принимаются меры. Две недели спустя, там же, в «Правде», отчет заседания, на котором выступали представители буквально всего местного населения: и заслуженные, и незаслуженные, ветераны и молодежь — все единогласно признают себя виновными и сообщают, что уже приняты надлежащие меры, чтобы исправить положение.

Можно, конечно, отнестись скептически к подобной психодраме и заключить, что тут все заранее предусмотрено. Но вот другой, более убедительный пример. 1 февраля 1983 г., на первой и второй страницах «Правды» — подробное описание встречи Ю. В. Андропова с московскими станкостроителями завода им. Серго Орджоникидзе. Газета не просто дает отчет об этом посещении, а приводит разговор, который Андропов заводит с работниками предприятия. Цель его — узнать реакцию слушателей на решения ноябрьского Пленума ЦК об укреплении трудовой дисциплины, о повышении производительности труда за счет сокращения потерь рабочего времени. Он вызывает смех в зале, напоминая, что всем знакомо выражение «скорректировать план». «Признаться, мне не доводилось слышать, чтобы такая корректировка происходила в сторону увеличения планового задания. Если говорят, надо скорректировать, то значит — речь идет об уменьшении». Уже в словах генсека звучат аргументы перестроечного тона: он обращается одновременно к производителю и к потребителю, стимулируя их личный интерес: чудес на свете не бывает, к чему рост зарплаты, если он не обеспечен нужными, хорошими товарами?

А как отзываются трудящиеся? По установленному порядку, одобряя с убеждением постановления ЦК. Начальнику сборочного цеха даже удается

обернуть дело, он благодарит ЦК за долгожданные решения! Герой социалистического труда, слесарь-сборщик, объявляет, что на собрании решили создать нетерпимую обстановку в целом ко всем нарушениям; все надежды возлагаются на воспитание молодых рабочих: как мы воспитаем свою смену, так они и будут работать. Представительницам слабого пола надлежит выступать живописно и своеобразно: сверловщица, ветеран завода, вспоминает, как ее, пятнадцатилетнюю девчонку, премировали поросенком, и обещает работать, пока силы есть; а начальник цеха отделочных работ, несмотря на иронические замечания Андропова, успевает намекнуть на вредные условия производства в цехе, куда мужчин не тянет: они себя берегут! Слово берет, наконец, секретарь цеховой партийной организации: наши рабочие с честью справляются с заданиями, конечно, в авангарде стоят коммунисты, весь коллектив хорошо воспринял решения Пленума... Андропов перебивает энтузиаста:

— А можно задать один нескромный вопрос? У вас в цехе много нарушителей?

— В январе, можно сказать, пришли в этом вопросе к нулю.

Эти радостные итоги слегка омрачены жестким заключением В. В. Гришина, первого секретаря Московского горкома: — Необходимо навести порядок, создать в коллективе общественное мнение вокруг каждого случая нарушения трудовой дисциплины. Не желая, по-видимому, оставить неприятного впечатления, Юрий Владимирович добавляет свое слово: вопрос об укреплении дисциплины относится не только к рабочим, инженерно-техническим работникам. Это относится ко всем, начиная с министров.

Мы все виноваты? Неужели, накануне перестройки, только так может проявляться единодушная поддержка решений партии? Вернее, не проявляется ли тут солидарность трудящихся при неуместном набеге властей на предприятие? Ситуация уже менее напоминает крепостные времена, объяснения крестьян с помещиком, чем посещение школы инспектором, когда преподаватель выставляет напоказ отличников; или кукольный спектакль, на котором, по-своему, каждый обитатель курятника предохраняет своих от злых намерений лисицы. Так же, как инспектор или как лисица, генсек не может пробиться туда, куда он стремится. Он как будто связан каким-то протоколом, и при случае ему это напоминают.

В чем заключается этот протокол, если он существует? Ведь не просто в сорной траве, в фразеологии, от которой страдает эффективность общения между властями и населением. Брежнев особенно любил выражение «словесная трескотня», когда он обличал непродуктивность идеологической и педагогической работы кадров партии: пропагандистские штампы, казенщина, напыщенность, механическое повторение общих истин и т. д. Не в подобное ли заблуждение впадал сам генсек в своих докладах? Воздав должное лучшим коллективам, передовикам и вообще всем тем, кто умеет работать на совесть, он произносил роковое «но» и давал волю перечислению отрицательных фактов: перебои, дефициты, узкие места, настаивая особенно на поведении нарушителей советского порядка: коррупция, воровство, беспечность, бюрократизм, произвол, небрежность, тунеядство и т. д. С каждым годом список обогащался новыми пороками. Кого это могло касаться? Только отдельных частных лиц. Давно уже избавилось всенародное государство от классовых врагов; немыслимо было в чем-либо обвинять трудящихся, народ. Оставалось одно: упрекать партийных работников, ответственных за педагогическую работу, за идеологическое воспитание масс. Работники в ответ благодарили за урок и обещали открытым фронтом наступать на..., до следующего года.

Langue de bois, mowa trawa, словесная трескотня, все ли это одного поля ягода? Лучше к вопросу подойти исторически. О словесной трескотне уже

заговорили в 20-е годы. А. М. Селищев, автор «Языка в революционную эпоху» (Москва, 1928 г.), приводит много живописных примеров. Новички-ораторы, самоучки, псевдореволюционеры произносили тогда бесконечные речи, украшенные лозунгами, научными терминами, нападали на империалистов, уклонистов, диверсантов... и утомляли внимание слушателей. Над ними подсмеивались писатели, особенно Зощенко, которому потом пришлось жестоко расплачиваться за свои шутки. Сам Сталин в 1925 г. замечал в «Известиях», что, называя трескотней политику Чемберлена и Макдональда, далеко не пойдешь. Характерно то, что исследование Селищева останавливается на 1928 г. До тех пор слово «трескотня» не касалось содержания речи, а ссылалось на форму, воздействие на аудиторию. Положение изменилось, когда Сталин овладел не монополией «советского языка», а высотами речевой стратегии. С тех пор слушатели, и преимущественно те ответственные лица, которым доверялось исполнение указов вождя, стали со страхом следить за их интерпретацией. Дорого мог обойтись малейший проступок. Гений азиатского деспота заключался в том, что он всегда сохранял инициативу при выборе топика, темы общения с посторонними лицами. Речь как будто идет о сельском хозяйстве или о международном положении, и вдруг открывается, что основная тема совсем иная, что все сказанное собеседниками на эти темы освещается теперь по-другому и ставит их неожиданно в шаткое положение. Сталин любил играть в «кошки-мышки» с бывшими соратниками Ленина, с Зиновьевым, с Каменевым. Солженицын красноречиво описывает жестокую игру, которую он вел с Бухариным накануне его ареста.

Поскольку я занимался в первую очередь современностью, мне лично не приходилось писать о «поэтике Сталина», но случай представился при анализе политического романа «Победа», автором которого был Александр Чаковский, главный редактор «Литературной газеты». На конференции в Хельсинки, в 1975 г., встречаются три корреспондента: американец, англичанин, русский, которые познакомились 30 лет тому назад на Потсдамской конференции, когда между победителями шла конфронтация на высшем уровне: с одной стороны, Сталин, с другой Трумэн и Черчилль. Официальная тема конференции — заключение справедливого и долговременного мира, утверждение договоров, подписанных в Ялте. По мнению автора, главная забота Сталина — обеспечить окончательную победу над гитлеризмом благодаря этому соглашению. Что касается вопросов, связанных с поражением гитлеризма, они как будто его не волнуют. Гостеприимно встречая, у себя в Потсдаме, своих союзников, он им предоставляет инициативу: судьба бывших союзников Германии? Новые границы СССР? Польши? Политический режим Польши? судьба Германии? Собеседники его волнуются, задают вопросы, требуют разъяснений, гарантий, уступок. Какой контраст с теплой обстановкой, царившей в Ялте! Сталин неразговорчив, но, ссылаясь постоянно на доверительные отношения, установленные с Рузвельтом, дает понять, что ничего не уступит.

Трумэн настаивает на том, чтобы в переговорах приняли во внимание границы Германии 1937 г. Сталин отвечает, что формально это возможно, но тогда Восточная Пруссия принадлежала Гитлеру, и добавляет:

— Если восстановят там немецкое правление, мы его непременно прогоним!

Все смеются, включая представителей Запада, хотя они идут на противоборство. Кто кого? Неужели денацификация ведет к русификации, и Кенигсберг, место рождения Канта, превратится в Калининград, под предлогом того, что Восточная Пруссия принадлежала Гитлеру? Так смеялись еще большевики в 30-е годы, до великой чистки. Чаковского это ничуть не смущает, он следит за поведением Черчилля, цель которого — как раз прогнать русских из Европы, и Трумэна, считающего, что Рузвельт слишком много уступил Сталину.

Но свобода их действий ограничена тем, что они не могут открыто осудить великого Рузвельта, в чем-то обвинить главного союзника, СССР, и тем более выдать себя поборниками интересов Германии и бывших ее союзников, особенно в ущерб интересам Польши.

Когда дело доходит до Польши, Черчилль начинает торговаться: новые польские границы будут признаны только вследствие проведения свободных выборов и утверждения истинно демократического правительства (включая не только членов люблинского комитета, но и представителей польского правительства в Лондоне). Невозмутимый и стоворчивый, Сталин как будто поддается плану, задуманному Черчиллем: обсуждать на том же уровне положение Италии и бывших союзников Германии, провести там политику, которая удалась Западу в Италии. Опасаясь реакции Сталина против фашистской Италии, Трумэн готов заступиться за нее. К его удивлению, Сталин не возражает: главная забота его — уберечь эти страны от реваншистской Италии. С этой целью он предлагает немедленное установление дипломатических отношений с ними. На возражения Черчилля: как же можно установить отношения, не проведя сначала выборов? Сталин отвечает: — Ведь вы признали итальянское, французское и бельгийское временные правительства, не дожидаясь выборов!

С ужасом лидеры Запада отдают себе отчет в том, что они попали в западню, подставленную Сталиным! Им придется бросить страны Восточной Европы на произвол судьбы и ничего не получить взамен! О каких демократических гарантиях еще может идти речь? Обижать поляков инспекциями и проверками? Истинным поборником новых интересов Польши стал теперь Сталин; при этом, прагматически он целиком владеет положением: спорные территории оккупированы советскими войсками, немецкое население покинуло земли, которые уже населяются поляками. Но этого мало: Сталин побеждает не только материально, применяя насилие, он побеждает политически и идеологически. Именно в этом причина необыкновенного престижа, которым он пользуется тогда среди прогрессивной общественности.

На самом деле, на Потсдамской конференции Сталин ведет диалог не с лидерами западных держав, а с мировой общественностью. Он не выдает себя, когда, говоря о плодах победы, он подразумевает захват половины Европы, заслуженный военный трофей за пролитую кровь, зато он «срывает маску со своих собеседников». Политический роман Чаковского описывает этот «подвиг», совершенный Сталиным, несмотря на угрозу американской атомной бомбы, козырь, которым Трумэн не смеет пользоваться: мировая общественность не позволит!

Подведем итоги: Сталин не возражает: — пожалуйста! Плоды победы — торжество демократии, восстановление свободы среди поработанных народов и т. д., хотя сам убежден, что «свободные выборы — лишь маскарад, обеспечивающий непрременную победу буржуазии, капиталистов». При этом он использует каждую возникающую двусмысленность. Демократическое подразумевает антифашистское правительство; разумеется, антифашистское и демократическое отождествляются с советским, антисоветское — с профашистским, а не просто с прозападным. В конечном итоге, признать себя прозападным и антисоветским — значит быть фашистом! При этой логике не нужно составлять какой-то особый «советский язык», в котором все шиворот-навыворот:

Спорить не приходится: оккупация советскими войсками означает освобождение от фашизма и подразумевает торжество демократии, восстановление свободы поработанных народов и т. д., что и требовалось доказать.

При этом необходимая мера предосторожности — дискредитировать того, кто мог бы возражать, срывая с него маску. Стеснительные вопросы по поводу раздела Польши в 1939 г., ответственности за Хатынь, невмешательства

советских войск в варшавское восстание в 1944 г. стираются с повестки дня, когда западные лидеры соглашаются вместо «представительное» вписать в протокол «признанное» правительство, исключая, благодаря этой уступке, польское правительство в Лондоне.

Образ Сталина, непреклонного вождя, поборника священных интересов трудящихся и родины социализма, не нуждается в введении нового языка. Обладая монополией на речь, Сталин использует великий русский язык, который создавался столетиями, и, общаясь с языками других народов, всегда выходит победителем. Осуждая по этому поводу заблуждения Марра и его сторонников, он выступает в данном случае освободителем от «аракчеевщины», навязанной схоластиками и талмудистами (!). Парадоксально, что М. Геллер, воюя с «советским языком» и Сталин — с марризмом, оказались в одном и том же лагере!

Когда на XX съезде КПСС Хрущев обличал культ личности Сталина, он призывал к восстановлению ленинских начал. В чем это заключалось? Помимо массовой реабилитации «виновных без вины», в сохранении Памятника, воздвигнутого самим вождем: История КПСС, История СССР, торжественное шествие деспота, отмечающего «белыми пятнами» каждую свою победу. От Памятника отказаться было немыслимо, не подвергая опасности всю советскую систему. После отважных попыток реформ и отстранения Хрущева общественности благоразумно дали понять, что сталинисты и антисталинисты сыграли вничью, не победили ни те, ни другие. Осудили на том же уровне культ личности одного и волюнтаризм другого, и все вернулось на круги своя. Но обстановка радикально изменилась: именно с этой поры можно говорить о *langue de bois*, о дубовом языке. Установился негласный компромисс между властями и населением. Он не опирался ни на законность (о какой законности может идти речь в Советском Союзе?), ни на конституцию — статьи ее зубрили, только чтобы сдать экзамены. Нет, он созидался на Памятнике и получил свое краткое, но полноценное изложение в Предисловии брежневской конституции. Произошла своего рода банализация. Слепой страх, вызываемый сталинскими постановлениями, заменялся «цивилизованными» отношениями между «общенародным государством» и советским народом, который, «руководствуясь идеями научного коммунизма и соблюдая верность своим революционным традициям, (...) закрепляет основы общественного строя и политики СССР... и т. д.»

Я уже давно признавал наличие советской «повести временных лет», порожденной Памятником, и прозвал ее Сказом. И вот в Предисловии сказ выступал в своей самой четкой формулировке, очищенной от всех изгибов и отклонений! Сказ — ангел-хранитель, он подсказывает «добрый ответ» не только на страшном Судилище, но и при повседневных занятиях, указывает границы, которые опасно переступить, предоставляя при этом долю свободы тем, кто умеет ею пользоваться. Оберегались сказом и Т. Я. Киселев на съезде, и московские станкостроители при встрече в Андроповым.

Когда я говорил о сказе со своими знакомыми в Москве, меня не понимали. — О каком сказе идет тут речь? Лингвисты и литературоведы используют понятие сказ, чтобы определить своеобразную речь постороннего лица (мужика, купца), которую автор включает непосредственно в свою повесть, не ставя кавычек; мастером сказа в XIX веке был Лесков; в 20-е годы Серапионовы братья довели его до совершенства; политический сказ допускается лишь в эпической форме: например Сказ о Ленине Маяковского. Я напрасно настаивал, само слово «сказ» не воспринималось в моей перспективе, надо было предложить другой термин, а мне казалось, что нельзя было лучше определить советский сказ: посторонняя речь без кавычек, которая постоянно регулирует, вернее, позволяет регулировать всякое изложение, как только оно касается щекотливых пунктов. В сталинские времена регулирование сводилось к писто-



лету комиссара, направленного в затылок писателя; теперь саморегулирование называется автоцензурой. На самом деле, советские люди используют сказ как удостоверение личности, удостоверение в том, что они участвуют в великом подвиге советского народа на пути к коммунизму, к осуществлению вековых надежд человечества. Этапы этой Одиссеи — строительство социализма, Великая Отечественная война, восстановление народного хозяйства, научно-техническая революция, развитое социалистическое общество, реальный социализм и, в неопределенном будущем... бесклассовое общество.

Все совершается преимущественно на словах, отмечается демонстрациями, годовщинами, народными праздниками, среди которых особенно важную роль играют выборы (без выбора), доказывающие периодически единогласие, царившее между партией и народом: первой необходимо любой ценой сохранить свою респектабельность, особенно в глазах Запада; второму — обеспечить участок независимости, завоеванный после столь долгих мучений. На Западе последователи Оруэлла ставят диагноз: коммунизм, благодаря newspeak'у, создал сверхдействительность, *sur-reality*, в которой, как в темнице, держит обезглавленное население СССР. Превратив часть человечества в роботов, тоталитаризм грозит той же участью народам свободного мира. Эта сверхдействительность на самом деле фикция, представление. Ладно, выступай они с убеждением или по принуждению, участники этого спектакля — рабы советского режима, но рабы, овладевшие своей партитурой, т. е. самостоятельные актеры. Человека можно поработить, но превратить в робота? Это пока относится к области научной фантастики.

На самом деле произошла радикальная перестановка ролей: политическую речь, грозный рычаг в руках управляющих, приручили управляемые! С виду никаких перемен, а в стране командно-административной системой овладел застой, и стали расцветать стихийность, самотек, зловерный уклон, от которого до тех пор родная партия успешно берегла народ. Феодализация страны, теневая экономика — вот последствия компромисса. Они ставили под сомнение развитие страны и под угрозу — ее безопасность. Неужели советский режим, во имя компромисса, отказался от эффективного общения с массами, реальную коммуникацию заменил протоколом? Советологи перебирали причины, которые могли бы нанести смертельный удар Советскому Союзу: война с Китаем? Всеобщая коррупция? Перевес мусульманского населения над славянским? Ссылаясь на сказ, я тогда думал и писал, что систематическое нарушение коммуникации может причинить серьезный вред режиму, законность которого заключается в руководящей роли партии; но о том, что оно может нанести ему смертельный удар — об этом я не подозревал.

*Sauver les apparences* (сохранять благопристойность) оставалось обязанностью тех, кого посылали за границу. Нам было сравнительно легко наблюдать за поведением советских граждан за границей, так как в университете у нас каждый год стажировались 30 студентов, будущих переводчиков. Я с ними вел перевод с русского на французский «на высшем уровне»: мы переводили передовицы «Правды», доклады Брежнева, выступления Громыко в ООН, научные статьи «Коммуниста», т. е. как раз тот материал, который одновременно изучался на нашем семинаре! Некоторые из стажеров подозревали это, и мне случалось наедине с ними делиться на эту тему, но переводы я вел профессионально, не вдаваясь некстати в какие-либо комментарии. Переводить советскую политическую речь на классический французский язык (самый достойный предмета перевода), не пропуская «тонкостей» сказа! Трудности и бессмысленность этого подвига стажеры переживали явно, как и я сам, но каждый по-своему. Интересно мне было следить, как эти мальчишки старались совместить стихийную искренность и условность. Только в конце года, еще до

начала перестройки, но когда обстановка уже стала меняться, они, желая подвести итоги, стали меня спрашивать на лекции:

— Ну, лично Вы, Александр Николаевич, как Вы относитесь к этой литературе? Какое, при этих переводах, у Вас создается впечатление о нашей стране?

Я высказал свое мнение, понимая, что их вопросы вызваны сомнением в правдивости самого сказа. Именно сама работа над переводом могла вызвать у них сомнения. Тем не менее большинство стажеров отстаивали еще сказ, скорее по убеждению, чем по оппортунизму. В сказ, как в Россию, можно только верить! Мы как-то заговорили о будущем Советского Союза. Предлагались разные варианты. В конце концов, один из стажеров не выдержал:

— Но ведь История не может идти вспять! Мы даже к НЭПу вернуться не можем! Что там говорить о капитализме, о рыночной системе. Нам суждено идти к бесклассовому обществу, и другого выхода в будущее у нас нет!

Историзм! Проклятый историзм! Подобный фатализм не мог не вызвать смех среди аудитории. При переводе передовиц «Правды» трудно было выбрать подходящее время глагола. Вот, например, статья (07.10.85) «Мы — хозяева страны». Можно так и так: мы, в настоящее время, являемся хозяевами страны; или мы должны стать хозяевами; или мы становимся хозяевами. А кто же, в сущности, это мы? Кто тут хозяин? Подобный вопрос был еще преждевременным. Первым симптомом «нового мышления» стал у нас Доклад о необходимости более углубленного изучения в СССР механизма развития экономики. Выступала в Москве, на научном семинаре в апреле 1983 г., еще при Андропове, Татьяна Заславская. Какие неожиданные выражения, какие высказывания!

«Скрытые излишки труда, исчерпание возможностей централизованно-административного управления; роль стихийного, т. е. нерегулируемого, поведения трудящихся (...) неоднозначна; коренная перестройка управления хозяйством существенно затрагивает интересы многих общественных групп; конкретный общественный механизм взаимосвязи экономического базиса с социальной надстройкой пока еще никем не раскрыт; формирование специфического типа субъекта экономической деятельности: работника / исполнителя или руководителя, получателя доходов, покупателя, потребителя и т. д.»

Где-то в верхах, на тайных заседаниях, царила гласность, недоступная еще простому смертному. Приобретая неофициальным путем документы, подобные этому докладу, мы уже располагали многими данными, по которым вскоре стала проводиться перестройка. Советская сторона признала у нас на кафедре наши семантические исследования, когда, сопровождая культурного советника, посещающего нас регулярно, прибыл советник-посланник, второе лицо советского посольства. Выступая на пленарном заседании при наших и советских студентах, он пустился в пародию на «советский язык», приводя выражения, которые смешали всю аудиторию. Это было время, когда, признавая общечеловеческие ценности, Горбачев заговорил о «новом мышлении». До этого в отношениях с Западом царила еще классовая конфронтация. Хрущев, провозглашая мирное сосуществование, предупреждал, что идеологическая борьба продолжается. К мировой общественности, по примеру Сталина, обращались советские лидеры, и Брежнев, и Громыко, когда вели переговоры с представителями западных держав; они осыпали их градом миролюбивых предложений с целью сорвать с них маски. Горбачев объявил деидеологизацию международных отношений и дал ход гласности, чтобы вступить в «нормальное» общение с населением Союза. Как сыпь, стали выступать белые пятна по сказу. Мог ли сказ пережить бесконечные пересмотры и испытания, несмотря на уверения Горбачева, что перестройка — возврат к правильному пути, указанному Лениным, что народ продолжает верить в социализм, т. е. в советский

сказ? Не о вере теперь шла речь, а о необходимости применения сказа к перестроечной обстановке.

Сколько надежд возбуждало каждое нововведение! «Определение есть отрицание» (*Determinatio est negatio*), — говорил Спиноза. По примеру венгров и поляков, чтобы термин «демократия» существовал сам по себе, стали вычеркивать «отрицательные» эпитеты: социалистическая, народная, подлинная. Среди обычных лозунгов на демонстрациях появились незнакомые, забытые слова: милосердие, терпимость, права человека, плюрализм. На каких семантических основах строились новые отношения, диалог между властями и общественным мнением? Какова была цель перестройки: нормализация или демократизация? Хотел ли Горбачев только найти временных союзников, чтобы дестабилизировать командно-административный аппарат, главный тормоз для проведения реформ в рамках советского строя? Или же перестройка была лишь мирным переходом к международному рынку и к созданию правового государства? Увы, не получилось ни то, ни другое.

На глазах развивалось грандиозное замешательство; оно касалось не только советских граждан. Например, моя мама, в эмиграции, ей тогда было почти 90 лет, но она еще всем интересовалась. Однажды я разобрал кипу газет:

— Вот у тебя тут «Правда», с Лениным в заголовке, это левая газета?

— Это газета компартии, которая у власти уже 70 лет, она стала консервативной, это, скорее, правая газета.

— Ну ладно! А «Русская мысль»? Она издается в Париже нашей эмиграцией. Это, значит, правая газета?

— Нет, мама. Она защищает права человека, демократию, радикальные течения перестройки в России. Это, скорее, левая газета.

— Ну ладно! А «Московские новости»? Они издаются в Москве. Значит, это коммунистическая газета?

— Нет, мама. Эта газета нападает на партийный аппарат. Она антикоммунистического направления.

— Ах, бедный Саша! Где правые, где левые? Как же теперь будешь разбираться?

О фракциях в компартии, о правых, о левых, о центристах вскоре перестали заботиться. В распадающемся на части Союзе заговорили только о национальностях, об этнических меньшинствах, об идентичности, о русскости, о русофилах, о русофобах. Новые понятия за 10 лет дискредитировались быстрее, чем новые политические лидеры. Либерализация превратилась в прихватизацию, демократизация — в разбазаривание России, правовое государство — в законное отмывание преступного бизнеса. Ностальгия по сказу неизбежно стала расти. На смену советскому сказу пришла старая знакомая, русская Идея, которая воплощает вековые ценности русского народа. Обезгосударствливание, проводимое систематично с целью окончательно избавиться от командно-административного аппарата, вызвала потребность обратиться снова к сильной руке, к государственнымникам. Неужели Россия не может жить без идеала? без Идеи? без сказа? Какие новые сказы плетут теперь, чтобы обеспечить будущее России? Этот занимательный вопрос выходит за рамки нашей статьи.

## SUMMARY

In clause of Professor Alexander Burmeister is analized the political lexicon of soviet and post-soviet Russia.